

*Жизнь
на грешной земле*

Днем, едва холодное солнце покатилося вниз, на зареченских лугах и дальше, на убранных пашнях, начали ходить туманы, поднимаясь над заболоченными местами, низинками. К вечеру гнезда их густели, наливались холодом, разбухали все больше. И наконец беззвучно сомкнулись друг с другом. Мутная пелена над заречьем все тяжелела, ползла к реке, закрыла сперва противоположный берег, затем половину широкой, тихой, обессиленной за знойное лето Оби, неотвратимо подступала все ближе к деревне, грозя залить ее, раздавить своей невесомой тяжестью.

— Врешь, брат Татьян, — сказал Павел Демидов, по обыкновению сидя у стены своей мазанки и глядя через реку на тускнеющие зареченские дали.

— Об чем ты это, пап? — спросил у Демидова восьмилетний приемный сын Гринька, заходя во двор. Посиневшими руками он держал облезлый школьный портфель. — Кто врет?

— Туман-то! — кивнул Демидов в сторону Оби. — Ишь шельма.

Гринька шмыгнул носом, потер под ним пальцем, подумал.

— А как он врет?

— Ну — грозит. Не чувствуешь?

Они еще помолчали. Гринька — маленький, в огромной отцовской фуражке, в новой суконной тужурке,

купленной только нынче перед школой в сельмаге. Демидов — сухой, тощий, угловатый какой-то, нескладный — остро торчали выставленные далеко вперед его колени, из-под толстой телогрейки остро выдавались плечи. Лет ему было уже за шестьдесят, он получал пенсию, но стариком назвать его было нельзя. Лицо он, хоть и редко, брил, вот и сегодня побрился, и крепкие, совсем не дряблые щеки поблескивали в неярком свете угасающего дня.

— Чую, — сказал Гринька. — Чем гуще туман к вечеру, тем утренник крепче будет. Ты всегда так говоришь.

— Это так. А еще что чуешь?

— Боле ничего.

— А ты замри. Замри и слушай. Ну, чего слышишь?

Гринька, старательно наморщив лоб, постоял без движения.

— Ничего. Пес какой-то лает.

— Балда. Сучка это лает. Бригадира Митрофана. Еще?

— Вроде на задах грузовик проехал. Девчонки где-то, кажись, пицат.

— Колхозного конюха Артамона дочка это повизгивает, Клавка-то.

— Их там много хохочет, девок-то, — уточнил Гринька.

— И Клавка там. Там она. А сейчас гармоня Ленки-тракториста запиликает. Дурак он, Ленка, гармонь у него дорогая, вся блестит, как в изморози, а играть не умеет. Так, будто лесину сырую пилит... Так-то он парень ничего, и зуб ладный.

Вскоре действительно донеслись тусклые, почти совсем задавленные расстоянием, нескладные звуки гармошки.

— Ну вот. А он — грозит, — опять кивнул за реку, в сторону надвигающегося тумана, Демидов.

— А что ему грозить? — все так же непонимающе спросил Гринька. — И кому? И как это он может грозить?

— Балбес! — глаза Демидова сердито блеснули. — Ступай домой. Там картошки для тебя сварены. На подоконнике в крынке молоко... А я посижу тута еще.

— Пап, ты только в магазин к Марьке Макшеевой не ходи, — попросил Гринька, как просила всегда Надежда, неродная Гринькина сестра, вот уже два года работающая в Маршанихе на лесоустроительной станции. И так же, как сестра, прибавил: — Не пей ты, пап, эту проклятую водку.

— Сгинь, чтоб ты! — прикрикнул Демидов. — Сказано — тут посижу. Никуда не пойду.

Гринька ушел и, ужиная в одиночестве, думал, что отец, как всегда, непременно пойдет в магазин, едва мигнет «волчье око» (так называл сам отец, а за ним и вся деревня, светящееся по вечерам низкое оконце в доме Марии Макшеевой, через которое она продавала водку «без сдачи», что у нее означало — четыре рубля бутылка). Пьяный отец был добрый, пожалуй, добрее, чем трезвый, часто приносил ему купленное через то же оконце то дешевеньких конфет или пряников, то бутылку лимонада. И пока не проходил хмель, все крутился по комнатушке, оправдываясь, что выпил вот, убеждал его, Гриньку, никогда не пить, часто гладил по голове и иногда, кажется, плакал. Но, боясь, что слезы заметит Гринька, встряхивал головой и, так же шагая из угла в угол, мурлыкал без конца одно и то же, странное, непонятное:

А кто ж я такой? Просто так — имярек.
Я, братцы-р-сбятцы, чудной человек...

Уж нет-нет да уgomонится он, уляжется.

И все же Гриньке не хотелось, чтобы отец каждый вечер был пьян. Трезвого он любил его больше.

Прибирая со стола, Гринька думал: он, отец, чудной у него, эту правду он про себя поет. Три года назад он взял его из маршанихинского детдома со странным условием:

— Тебя Вовкой кличут? Отныне я тебя Гринькой звать буду.

— Я не хочу, — сказал Гринька, бывший тогда еще Вовкой.

— Это уж обязательно. Иначе, сынок, не выйдет у нас ничего. Не возьму я тебя, хоть ты малец вроде ничего, с гвоздем парень. Другого выберу.

И, помолчав, выкурив в молчании длинную самокрутку, старательно затоптав окурок в землю (они разговаривали в детдомовском саду), начал длинную, наполовину непонятную речь:

— Сам я, сынок, лесник, деревья, значит, сторожу, за лесом ухаживаю, зверюшек всяких оберегаю. Сторожка моя в лесу стоит... А лес какой у меня! Ого-го, брат! Вот лежу я в сторожке или иду по лесу — деревья шумят, шумят... Ты думаешь, они просто от ветра шумят? Не-ет, сынок. Они это со мной разговаривают: какая, значит, радость у них или какая беда... Или, скажем, кто прошел, проехал мимо — такой-то, мол, человек, или плохой, или хороший. Ну, понятно, хороший — так и иди себе. А коли плохой — нет, брат, шутишь, погоди-ка! Вот так — обо всем докладывают. Деревья, они, сынок, и не деревья вовсе, а живые люди. Это лесина спиленная — дерево, бревно, словом... А живем мы в сторожке с дочкой Надеждой. Она тоже у меня приемная. Я ведь бобылем все жил, жены у меня никогда не было. А почему? Это, сынок, такой во-

прос, под старость только и сумешь разобраться, может. А может, по глупости. Ну да ладно... Вот и надумал я — присмотрю-ка с детдому я себе дочку. После войны мно-ого их было, детдомовцев, да... Больше, чем теперь. Ну и присмотрел... Понравилась одна, сопливая такая. Конопатая, как ты. Люблю отчего-то конопатых я. Только ее Анной было звать. Анька-встанька, муженька достань-ка... Вот глупые слова, а отчего-то ударили мне в голову, когда с ней, как с тобой вот, беседовал. Что ж, думаю, выращу ее, она муженька-то и достанет, а я опять один. Будешь, говорю, ты Надеждой теперь. Тебе, говорю, имя, а для моей жизни смысл. Вот так я ей сказал. Будто при новом имени не присмотрела бы она себе муженька, и рано ли, поздно ли, не ушла от меня. Вот ведь какой глупый я был, а? Как думаешь?

И Гринька припомнил, что он вдруг воскликнул тогда:

— Почто же — нет! Ты правильно... Раз ты ее берешь в дети, так и она должна!

— Вот-вот, угадал я — с гвоздем ты! Да только, брат, должна-то должна, а человек-то по-человечьи и жить обязан. По весне зацвести радостью, как поле росными цветами, все лето — рожать, а после и озимь посеять. Семена свои, значит, после себя оставить. Это я вот один — чудной человек... Да-а, хорошая она у меня, Надежда, дочка добрая выросла. Да только в Моршаниху вот теперь часто бегает — то в кино, то на танцы. А там, у лесовода одного, парень — Валентином звать. Парень, скажу тебе, тоже ничего, с гвоздем человек будет, да, считай... Чуешь, словом, чем пахнет?

— Девки — они такие! — опять вырвалось у Гриньки, тогдашнего Володьки. — А я тебя никогда не брошу.

— Ага! Согласный, значит?

— Что ж тут хорошего, в детдоме-то? Только уж Вовкой я был, Вовкой пускай и останусь.

— Ну, это невозможно. Никак, сынок, невозможно.

— Да почему?

Его будущий отец тогда опять помолчал, выкурил еще одну самокрутку.

— Надька-то замуж выйдет, уйдет к мужу, понятно. К Валентину ли, к другому ли кому... Девка выросла, говорю, что надо — красивая, гладкая, в бедрах сильная. Глаза у ней, Гринька, — ишь какое хорошее имя-то, сынок! — глаза у ней светлые, лучистые, блеснут — зажмуришься. Да что ж, — вздохнул он, — я свое исполнил, вырастил ее. Пуцдай она теперь свое исполнит. На земле должно быть как можно больше людей со светлыми глазами. Уйдет, а я опять один останусь. Один? Ан нет. Просыпаюсь я ночью, скажем, а в ушах у меня — гринь-гринь-гринь... Что это — оконные стекла от ветра, может, звенят? Нет, это сына так моего зовут. Иду я по лесу, а кругом — гринь-гринь-гринь... Кто это? Птицы, может, поют? Ну да, верно, они поют. А про кого? Про моего сыночка щебечут они... Нет, никак невозможно, чтоб Вовкой ты остался.

...Гринька прибрал со стола, накрыл блюдечком крынку, из которой наливал молоко. За окнами давно стояла плотная темень, такая плотная, будто стекла кто-то заклеил черной бумагой. Отца все не было.

Вздохнув, мальчишка разобрал свою постель, щелкнул выключателем и залез под одеяло, продолжая вспоминать недалекое прошлое. Ему жалко, очень жалко было расставаться тогда с прежним своим именем, но чем-то понравился ему этот пожилой человек, а несколько раз сказанное им непривычное слово «сынок» выжимало слезинки.

— А зайцев... их тоже ты оберегаешь? — спросил он тогда, опуская стриженую голову, чтобы спрятать глаза.

— Зайчишек-то? А как же. Самый беззащитный народ. Их вокруг сторожки моей прыгает, как воробьев вокруг весенней лужи.

— Ладно, я согласный.

Он-то был согласный, но потом вышли большие осложнения, его долго не отдавали в сыновья этому человеку.

— Возраст, — говорил директор детдома, — у вас преклонный, товарищ Демидов.

— Что возраст? Я крепкий, на лесном духу настоящий, еще двадцать лет, как заяц, проскакаю! — доказывал его приемный отец тогда. — А коли что — дочерью Надежда его довырастит. Я вам приведу ее, поглядите, какова деваха.

И он привел ее. Она, высокая, решительная, и вправду с какими-то удивительно добрыми и лучистыми глазами, тоже что-то доказывала директору, потом несколько раз ходила, выхлопатывая разрешение, в различные районные организации. И выхлопотала.

В лесной сторожке Гринька прожил с отцом и Надеждой всего два года. Что и говорить — там было хорошо. Вот только зайцы вокруг дома не прыгали и вообще близко не подходили к жилью — боялись, видимо, собачьего духа, зато поблизости текла небольшая прозрачная речка, в которой они с сестрой ловили удочками жирных усатых пескарей, а по берегам собирали ежевику и смородину.

Надежда была озорница, непрерывно хохотала, оглашая весь дом, весь лес звонким своим голосом, глаза ее, когда она смеялась, лучились еще больше. Только к вечеру они, по обыкновению, притухали. Сперва

Гринька не понимал, в чем дело, а потом стал догадываться — беспокоится Надежда об отце.

И верно, отца вечерами долго не было, и довольно часто приходил он пьяный. Он никогда не шумел, не ругался и, если выпил очень много, сразу ложился спать. А иногда до света мерил шагами просторную кухню и мурлыкал свою песню.

Один раз Гринька слышал, как Надежда, плача, говорила ему:

— Не пей ты, папа, эту проклятую водку. Ну отучись. Ведь сын у тебя теперь малолеток, его на ноги ставить надо.

— Поставим, Надежда, поставим... Я пью, да разум не теряю.

— Как же! Прошлой зимой не замерз чуть. Кабы я не отыскала тебя в сугробе...

— Это было, доченька... Дурак я. Растревожил меня тогда Денис Макшеев, Марькин муж, сдохнуть бы ему! Да это раз только и было. А так — в контроле я всегда.

— Да отчего ты пьешь ее, проклятую?

— Так, приучился... Жизнюха-вилюха, не жил бы, да надо.

— В который раз ты про этого Дениса Макшеева... Что у тебя с ним произошло? Что не поделили?

И тут Гринька почувствовал, как отец посуровел, рассердился, чего с ним никогда не бывало:

— Замолчь! Чего пытаешь? Ум куда короток, а туда же...

Надежда всхлипнула, и отец тотчас обмяк, начал виниться:

— Доченька... Дурак я, знаю... Я подберу себя. Брошу пить. Вот на пенсию скоро выйду... Гриньке в школу как раз. Да, переедем в Дубровино, купим хатку какую-нибудь. И брошу. Какая в ней радость?

И вот уж больше года живут они в деревне. Надежда вышла замуж за своего Валентина, отец теперь не работает, получает пенсию. А пить так и не бросил...

Гринькины глаза слипались, сон заволакивал сознание. Засыпая, он опять подумал, что отец его непонятный и чудной. Туман у него Татьян, дождь он называет Дементием, вьюгу — Акулиной, а пасмурный день — Митрофаном. «Туман — Татьян — понятно, похоже вроде. Дождь — Дементий — тоже на одну букву. А почему вьюга — Акулина? Или крепкий мороз — Филарет? Ага, кажись, идет...»

Проснуться Гринька уже не мог. Откуда-то из другого мира, далекого и нереального, донеслось только до Гриньки знакомое:

А кто ж я такой? Просто так — имярек...

2

Уже несколько дней шел то дождь, то снег, землю расхлябило, люди с трудом выдергивали ноги из клейкой дорожной грязи. Небо было серым, низким и промозглым, мир сузился, перемокшие дома, казалось, съезжились и потихоньку оседали вниз, в разжиженную землю. И еще казалось: небо над деревней никогда не распахнется больше, сроду не появится на нем солнце.

Тусклый короткий день был просто длинным сумеречным вечером.

Павел Демидов с толстой палкой в руке вышел за калитку, когда сплошная чернильная темнота залила всю улицу. Кое-где светились окна, бросая желтоватые пятна на дорожную грязь, отчего грязь эта жирно лоснилась. Перед домом напротив росли густые

деревья, свет из окон этого дома не доставал до улицы, запутывался где-то в голых ветках.

В конце улицы, как всегда, горело «волчье око». Демидов помедлил, вздохнул и пошел на его красноватый огонек.

Оконце, через форточку которого Мария Макшеева принимала от ночных покупателей деньги и подавала бутылки, было задернуто занавеской. Демидов постучал в стекло. За красноватой тряпкой качнулась тень, занавеска поползла в сторону, и Павел увидел за стеклом не Марию Макшееву, а усатое, жирное, ненавистное лицо ее мужа, Дениса.

— Сколько? — равнодушно спросил Денис, открыв форточку, не узнавая пока Демидова.

— Одной досыта будет... с твоих-то рук.

Денисовы рыжие брови чуть переломились, он поближе припрынул к стеклу, будто хотел проверить, не ослышался ли, тот ли за окном человек, которому принадлежит голос?

— Давай деньги.

Когда он говорил — тускло поблескивали от электрического света два его вставных металлических зуба.

Протянув с пятерки полную сдачу — Демидов был, наверное, единственным, кому Макшеевы продавали водку по ее настоящей цене, — Денис хотел захлопнуть форточку, но Демидов сунул в створку грязный конец палки.

— Чего, чего еще?

— Не отравленная? Ты ведь грозил когда-то...

— Жри без опаски. Не сдохнешь.

— Марька-то где сама?

— Проваливай! Будет тут пьянчужка всякий... Убери, говорю, палку!

— Жена где, спрашиваю, твоя?

— А на свидание к тебе побегла. А ты тут вот... — В голосе Макшеева была едкая насмешка. — Мне что, за участковым сбегать?

— Это уж сама Марька сделает, когда я, Денисий, придавлю тебя где-нибудь, как таракана сапогом.

Усы у Макшеева от бешенства задергались. Но бешенство его было бессильное, он сам это чувствовал. И ничего не говорил, только багровел все больше и больше.

— Придавлю и разотру, чтоб и праха от тебя на земле не осталось.

По-прежнему молчал Денис, стоял, уронив, как плети, обе руки. Лицо его теперь стало бледнеть, словно какой-то насос начал откачивать с лица всю кровь. А Демидов, понимая состояние Макшеева, безжалостно продолжал:

— Да только что мне участковый? Я жизнь свою использовал, так и так помирать скоро. Но сперва я тебя на тот свет спроважу. Да ты и сам, должно, чувствуешь, что твоя голова все ниже и ниже к плахе клонится. Чувешь али нет?

Макшеев лишь усмехнулся.

— Врешь, чувствуешь. Все живое это чувствует. Даже курица, когда ее ловят в курятнике, чтобы лапшу сварить.

— Не пугай. Пуганный я тобой.

— И правильно — бойся, — как бы не слыша его слов, продолжал Демидов, раскрывая форточку чуть пошире. — Я это давно бы сделал, да поджидал, пока дети ваши подрастут. Малых не решился сиротить. А теперь что ж — обои твои дети обженились в городе, слышал, на собственные ноги встали... А там пусть приходит за мной хоть сотня участковых. Тюрьма мне больше без надобности, на старости-то. Так что живым они меня не найдут. Гриньку Надежда к себе возьмет.

Демидов вынул палку из форточки, наклонился поближе к оконцу и сказал Макшееву, как говорят что-нибудь хорошее близкому другу:

— Конечно, не шибко удачливо ты, Денисий, судьбой своей распорядился.

Макшеев рывком захлопнул форточку, задернул занавеску. Но по тени Демидов видел, что он не отошел от окошка, стоял недвижимо на прежнем месте. Усмехнувшись, Павел покачал на ладони холодную тяжелую бутылку и вдруг, размахнувшись, швырнул ее в бревенчатую стену дома. Бутылка раскололась звонко, но осколки просыпались почему-то беззвучно. Тень за занавеской вздрогнула, будто бутылка попала не в стену, а в самого Дениса, и окошко потухло.

Когда Павел Демидов шел к дому Макшеева, сеял редкий, унылый дождичек, небо, видно, иссякало, выцеживало из себя последки. И вот теперь действительно сверху уже не капало, дул только влажный и тяжелый ветер, бессильный высушить крыши, голые мокрые ветки деревьев, суконную тужурку Демидова.

Павел шагал не к своей мазанке, а так, куда-то, по какому-то переулку, неизвестно зачем. Полчаса назад ему действительно сильно хотелось выпить, сейчас ничего не хотелось.

Многолетняя жизнь в лесу обострила его слух, приспособила его глаза хорошо видеть в темноте. И сейчас он услышал — кто-то хлопает по грязи навстречу ему. А подняв голову, сразу различил, что это Мария Макшеева.

Мария, может, не узнала его, а может, не захотела узнавать — прошла было мимо. Он окликнул ее именем, каким звал в юности, каким звал иногда и теперь:

— Марька...

Она оглянулась, затем пошла еще быстрее, но, сделав несколько шагов, остановилась:

— Ну — что, что?

— Да так я... — произнес Демидов, подходя. — Что мне с тобой?

— Гляди-ка, трезвый. — Глаза Марии во мраке чуть поблескивали, и Павел знал, что она глядит на него, как всегда, холодно и враждебно. — Когда ты от водки этой сгоришь только!

— Вот как Денисия твоего прижужькну где-нибудь.

— Зверь ты, зверь! Чем он тебе дорогу перешел? Что ты над ним висишь всю жизнь, как... Чем он-то виноват перед тобой? Это я пускай виновата, коли выбрала его, а не тебя. И хорошо, что не тебя! Ты ведь пьянчужка, бирюк лесной. Хватила бы я с тобой горюшка!.. — И Мария заплакала.

— Врешь ты, — сказал ей Демидов с тихим вздохом. — Все врешь.

— Я тебя по-всякому просила — оставь ты нас в покое. У меня семья, дети, я... Что ж я с собой могла поделаться тогда... коли не тебя, а его полюбила.

— Врешь, — повторил Денис. — За меня б вышла, коли б не посадили меня перед войной.

— Никогда! — воскликнула женщина.

— Ветру у тебя в голове много было, это верно, — как-то грустновато произнес Демидов. — Ладно, может, и не за меня. А от Денисия-то ушла даже бы и сейчас, будь твоя воля. Да нету. Запутал он тебя в грязных магазинных делах, завязил сперва в них, как муху в паутине... А теперь тюрьмой пугает. Вон полушалок на тебе и тот ворованный.

— Не трожь ты! — Мария отступила, ударила его по протянутой руке, будто боялась, что он сорвет с ее головы полушалок.

— Водку и ту заставил продавать ночами. С меня только и берете настоящую цену. Куда он деньги-то складывает?

— Как я ненавижу тебя, паразита! — прохрипела Мария, отступая, будто изготавливаясь к прыжку.

— И это неправда, — произнес он с каким-то укором.

Мария зарыдала тяжело, уткнула лицо в концы полушалка. Он терпеливо ждал, пока она выплачется.

— Нет, это правда, — сказала она, вытирая глаза. — Я тебя возненавидела по правде с того дня, когда ты меня там... в лесу в кровь исхлестал ружейным ремнем. И до смерти за это ненавижу буду.

— Не ошибись, гляди, глупая ты баба, — произнес Демидов.

— Ишь ты, как себя ставишь! Поглядите-ка на него! Еще противней ты мне после таких слов!

И она быстро пошла прочь, разбрызгивая резиновыми сапогами грязь. Павел стоял, опершись на палку, глядел ей вслед, будто ожидая, что она вернется.

И она вернулась. Она остановилась сперва, потом резко повернулась, торопливо подбежала к Демидову:

— Вот глупая я... ты произнес. А?

— Я это сказал.

— А почему?

— А ни бабы, ни человека из тебя не выросло. А могло бы и случиться.

В соседнем доме загорелось окно, свет из него упал прямо на Павла, а Мария осталась отрезанная в темноте. Но Демидов увидел ее запрокинутое к нему лицо, действительно холодное и враждебное.

И все равно она была красивая, Мария. Она была на четырнадцать лет моложе Павла, ей подбирались под пятьдесят, но время словно не трогало ее. Все такие же гладкие щеки с румянцем («И это не ветер нахлестал», — отметил Демидов), свежие еще

губы, которыми она когда-то целовала его жарко и ненасытно, такие же густые, без единой сединки волосы. Лишь вокруг глаз стали пробиваться морщинки, да и то едва-едва.

— Оставь ты нас с Денисом в покое, Пашенька! — умоляюще заговорила вдруг она. — Мы старики уж, жизнь сызнава не начнешь... Уедь куда-нибудь, али мы с Денисом уедем, а ты за нами не тапцись следом, дай нам пожить спокойно под старость хоть, не преследуй боле. Ты ригу колхозную поджег, в тюрьму угодил — и пошла твоя жизнь наперемол. А Денис при чем?

— Ты?! — вскрикнул он и тяжело задышал. — Денис, значит, ни при чем? Он ни при чем? Н-ну, отвечай?!

Он схватил ее за плечи и сильно затряс.

— Господи, в уме ли ты?! Я закричу, Павел!

Он застонал, отшвырнул ее от себя чуть не в грязь и быстро пошел, почти побежал...

3

Тяжелые черные волны хлестали в борта лодки. Демидов, сжав зубы, греб и греб, не обращая внимания, что весла опасно потрескивают. В непроглядной черноте крохотного речного островка было не видно, но Павел чутьем чуял, что плывет правильно, что нос лодки сейчас заскрежещет по галькам.

Потом он сидел под небольшим обрывчиком в затишке, смолил одну за другой дешевенькие папиросы, слушал, как уныло посвистывает ветер в голых кустах, росших на островке, хлопает у ног осенняя обская вода.

Напротив островка вдоль берега была рассыпана деревня Дубровино, сейчас она угадывалась по редко-